Сац Наталия

24.12.94.

Страницы большой жизни

Наталия САЦ: «Я НЕ ДЛЯ МАКАРОН ЖИВУ!»

Вег. Москва.-1994.-24 дек.-с.4.

Вот уже в третий раз наш традиционный фестиваль «Театральные вечера «Вечерки» открывал Детский музыкальный театр, подаривший подписчикам бесплатный просмотр своего нового спектакля «Волшебник изумрудного города». Перед началом спектакля с юными зрителями очень интересно разговаривала Роксана Карпова-Сац – дочь легендарной Наталии Сац, имя которой носит сегодня этот коллектив. Предлагаем вниманию читателей воспоминания Роксаны Николаевны о своей матери.

Наталия Ильинична Сац в последний раз перешагнула порог «своего» Детского Музыкального театра 27 августа 1993 года. В этот день ей исполнилось 90 лет, и коллектив захотел поздравить ее день в день, не дожидаясь официального юбилея. Потому что была она для нас не только основателем и бессменным руководителем Детского Музыкального. Между собой все в театре называли ее МАМОЙ. Но я, напротив, называла ее так реже других, хотя она была именно моей мамой. Однако, пригласив меня на работу в театр, она сразу круто изменила характер наших отношений: и в служебное и во внеслужебное время звала почти исключительно по имени и отчеству, приучила к этому и меня. И только иногда, представляя кому-то, говорила: «Это наш завлит, а по совместительству моя дочь».

И все-таки она была моей мамой, и сейчас, говоря о ней, я не могу и не хочу избегать личного.

Дом человека, его быт – во многом отражение его самого. В разные годы Наталия Ильинична жила в разных местах, но всегда в ее жилище лучшее место отводилось роялю, книжные шкафы, полки и стеллажи были повсюду, но их все равно не хватало, и книги втискивались в любое мыслимое и немыслимое пространство, а вот кухня...

В высотке на Котельнической, где она жила последние годы, кухонные полки были оклеены яркой «детской» пленкой, на подоконнике громоздились нарядные коробки из-под шоколадных конфет – праздничные знаки внимания «из высоких сфер». На самой большой кастрюле, как на троне, восседал длинноносый Буратино, победоносно сжимавший в деревянном кулачке золотой ключик, но вот в остальных кастрюлях часто бывало пусто, как пусто бывало и в хлебнице, и в масленке, и в сахарнице...

Но и когда в доме бывала полноценная еда, накормить ее было чрезвычайно сложно. Раз, возвращаясь со мной после многочасовой репетиции, она вдруг сказала: «Кажется, у меня были где-то макароны. Скажи, ты умеешь их варить? Я помню, в Италии мне давали очень вкусные макароны с сыром и еще с чем-то интересным». Вдохновленная тем, что она что-то захотела, я зашла к ней и стала обследовать продовольственные ресурсы. Нашлись, и очень хорошие, макароны, и сыр, и масло, и даже кетчуп. Я приготовила, как мне показалось, эталонно-итальянские спагетти и пошла к ней в комнату. Она сидела на кровати и что-то писала. «Кушать подано, макароны по-итальянски вас ждут!» – «А, – сказала она, – большое спасибо...», – и продолжала писать. – «Ну, так пойдем!» – «Сейчас, сейчас...», – но не двинулась с места.

Я вернулась в кухню, положила макароны на тарелку и принесла ей в комнату, однако это не привело к нужному результату. «Мама, ну что же это! Стынет же!», – не выдержала я и попыталась заменить ручку на вилку. «Оставь, пожалуйста! – вилка была решительно отторгнута. – Я не для макарон живу!».

Нет, она жила «не для макарон». На пышных банкетах и в спецсанаториях интересного собеседника всегда предпочитала вкусной еде, что уж тут говорить о «сверхтрудовых» буднях. И какая же в ней была поразительная жизненная сила! До 90 лет быть у руля труднейшего дела, писать, ставить спектакли, выступать, изучать иностранные языки (она свободно говорила по-немецки, французски, итальянски, до конца дней изучала – и уже говорила! – по-английски) и оставаться пленительной женщиной, способной увлекать и увлекаться и все время что-то преодолевать. «Некоторые достигают желаемого благодаря, я же почти всегда несмотря на», – говорила она. Новые идеи высекались из нее, как искры из кремня, и поначалу чуть ли не всегда воспринимались как утопические, нереальные даже соратниками и сподвижниками.

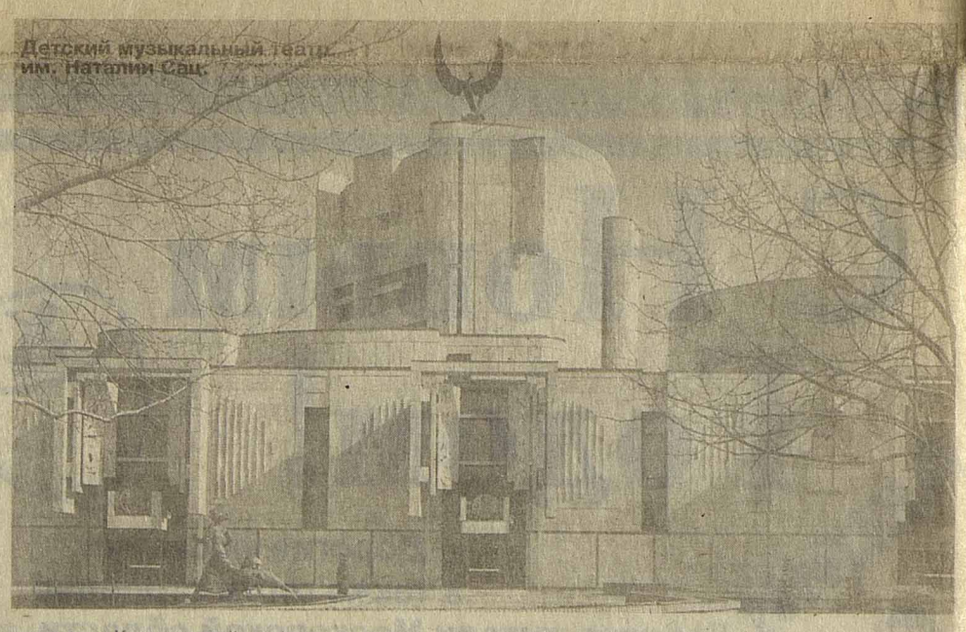
И вознеслась над фасадом Синяя птица...

Такой фантастической показалась поначалу и идея создания Детского Музыкального театра. Но ее убежденность и увлеченность были столь велики, что завораживали даже самых закоренелых скептиков.

Жаль, что наше телевидение или кинодокументалистика не запечатлели эпизодов, связанных со строительством нового здания театра. Как было тогда принято, из Московского городского комитета партии была спущена директива закончить строительство к определенной дате – к 11 декабря 1979 года. За несколько дней до этого Наталия Ильинична со мной и кем-то еще из театральных людей приехала на стройку. Я увидела зрелище поразительное. Было часов одиннадцать вечера, но стройка была залита светом – со всех сторон ее прорезали ослепительные лучи мощнейших прожекторов. Повсюду были люди. В брезентовых робах, металлических касках, они что-то сгружали с подъезжавших машин и тут же куда-то относили, к чему-то прикрепляли и прилаживали, и вот уже вместо рыжей глины – серебристые мраморные плиты пола, дыры проемов превращаются в окна и двери в металлических кружевах; чудесное здание рождалось на глазах. Но больше всего поражало царящее здесь общее воодушевление. Обветренные лица, заскорузлые руки, привыкшие к кирке и лопате, ядреный мат, перемешанный с диалектами съехавшихся с разных концов страны лимитчиков, что, казалось бы, этим людям за дело до какого-то там Детского театра?!

Но все они не просто работали – радостно соучаствовали, созидали его. И невольно вспомнилось, как поначалу скептически многие из нас отнеслись к решению Наталии Ильиничны регулярно чуть ли не с первого дня стройки давать концерты для строителей, как между балок и блоков рассаживались музыканты и оркестр исполнял увертюру к «Руслану», а певцы пели Чайковского, Рахманинова, народные песни... Она всегда сама вела эти концерты, она бывала здесь чуть ли не ежедневно. И вот теперь, завершая стройку, строители стремились поделиться именно с ней их общей радостью. Не успела она появиться, как кто-то протянул и помог ей надеть строительную каску, а потом какая-то тетка, краснолицая, кряжистая, в грязной робе и тяжеленных сапогах подбежала к ней: «Наталия Ильинична! Смотрите! Петю! Петю подняли! Да как точнехонько встал, как по струночке»... И действительно, чугунный Петя из скульптурной композиции «Петя и Волк», которая должна украшать первый портал, подхваченный краном, уже занял свое место.

Спустя несколько месяцев после завершения стройки мне принесли буклет, рассказывающий о здании театра. Просматривая его, я обратила внимание автора на фактическую ошибку: в буклете было написано, что скульптура Клыкова «Синяя птица на золотой арфе», ставшая символом театра, находится рядом со зданием, а не венчает его купол. Я указала на эту неточность, на что автор обиженно возразил: «Никакой ошибки нет. Неужели вы не понимаете, что установить такую скульптуру на крыше технически невозможно, как бы ни мечтала об этом ваша Наталия Ильинична?». Я попросила автора выйти из здания и показала наверх: над зданием театра распростерла крылья Синяя птица. Я рассказала, как наша Наталия Ильинична добилась, что из Кузбасса пригнали единственный в своем роде строительный кран, но даже его огромной стрелы не



Детский музыкальный театр им. Наталии Сац.

хватало... Как молодой крановщик сделал какой-то очень рискованный маневр, и кран с огромной птицей вдруг стал прогибаться... Как начальство приказало немедленно опустить скульптуру, но крановщик уже занес ее над крышей, сделал еще более рискованный маневр, – и птица словно сама влетела в уготованное для нее гнездо.

Возможно, что кто-то из прочитавших эти строки подумает, что осуществить все это она смогла не только благодаря неиссякаемой, поистине фантастической энергии – о чем уже много писали и говорили, – но и благодаря всемирной славе этой «женщины-легенды», как часто называли ее в последние годы. Однако в те времена имя ее не было еще столь громким: ведь прошло совсем немного лет, как после заключения, затем ссылки она получила разрешение снова жить и работать в Москве.

Превращение в зэка

Мне было неполных 10 лет, когда ее арестовали, и только через три года, незадолго до войны, бабушке удалось добиться свидания. «Самое страшное – потерять доверие». Она часто это повторяла. Думаю, что внезапное превращение из знаменитости в зэка страшнее всего было для нее именно этим.

Узнав, что мне тоже разрешено свидание, я, честно говоря, даже испугалась: какой она стала там? Я знала, что она теперь совершенно седая, наверное, вся в морщинах... Когда начинала об этом думать, почему-то в памяти всплывала картинка из школьной хрестоматии: изможденная женщина в платочке, с выбивающимися жидкими прядями склонилась над корытом. Я прекрасно знала, что картинка называется «Прачки», что на ней изображены и другие женщины, а главное, что та женщина ни при каких обстоятельствах, ни единой черточкой не похожа и не может быть похожей на мою маму, но ничего другого я себе представить не могла.

Лагерь находился где-то под Рыбинском. Приехали ноябрьским промозглым утром и долго шли по раскисшей глинистой дороге, пока наконец не увидели низкие бревенчатые бараки за колючей проволокой.

У ворот лагеря взад-вперед ходил часовой. Когда мы подошли, он встал перед нами и застыл. Безразличный, как монумент. Бабушка о чем-то робко его спросила, он даже не повернул головы.

Вдруг из барака напротив появилась женщина в серых изящных сапожках, серой барашковой шапочке набекрень и очень красивом сером же пальто с таким же, как шапочка, воротником; она стремительно шла к воротам. «Какая красивая... Неужели это...» – я не успела додумать, как мама уже обнимала меня и бабушку, а часовой смотрел на нас и улыбался широченной до ушей улыбкой. Но эту идиллическую картинку прервало внезапное появление щеголеватого военного, в котором сразу угадывалось начальство. Он потребовал от бабушки какую-то бумагу, она протянула, но бумага оказалась не та, и военный стал выговаривать часовому отрывистым «лающим» голосом, а нам приказал идти в какую-то контору, где можно было получить нужную бумагу.

Мы снова оказались за воротами. Снова шли по вязкой, скользкой глине через большое изрытое, очевидно, картофельное поле, а сверху сеял и сеял нудный, проникающий до костей осенний дождь. Бабушкина спина покачивалась передо мной, совсем мокрая, она шла трудно, медленно, но не остановилась ни разу, пока мы не дошли до цели.

Узнав, зачем мы пришли, военный, к которому мы обратились, сказал, что должен доложить капитану, и ушел, оставив нас ждать в коридоре. Наконец он вернулся и указал на дверь, в которую нам предстояло войти.

Многие слова у меня в детстве сразу вызывали образы, возникавшие на основе прочитанных книг, полюбившихся кинокартин, спектаклей, песен. Слово «капитан» ассоциировалось с человеком крепким, мужественным, красивым, спокойным и добрым. Человек, сидевший за столом в той комнате, куда мы вошли, был страшен. Страшным своей болезненной некрасивостью было его испитое, землистое лицо, непомерно длинные, узловатые, какие-то «паучьи» пальцы, нервно перебиравшие поданную бабушкой бумагу, и особенно его глаза, совершенно круглые, бесцветные, какие-то рачьи. Когда он их поднял от бумаги, помню, я инстинктивно попятилась к двери и так там и стояла, прижавшись. А человек сразу стал кричать на бабушку тонким резким голосом, потрясая бумагой. Из его захлебывающейся речи я поняла одно: бумага, привезенная из Москвы, его чем-то не устраивает, и он не даст нам свидания с мамой.

Вдруг бабушка заплакала и упала перед ним на колени. Она вся сотрясалась от рыданий, а он кричал на нее и требовал, чтобы она встала. В какой-то момент я поймала бабушкин взгляд, поняла, что она хочет, чтобы я тоже умоляла и плакала, но во мне словно все окаменело, я ничем ей не помогла.

Он все-таки поднял бабушку с колен, что-то написал на злополучной бумаге и почти выставил нас за дверь.

Мы опять шли по картофельному полю к баракам за колючей проволокой, опять подошли к воротам, возле которых вышагивал уже новый часовой. Но того, первого, мы тоже увидели, когда нас пропустили за ворота после, на этот раз очень тщательной, проверки – он стоял рядом с мамой. «Вот, – сказала она, – этот человек из-за меня теперь будет сидеть сутки на гауптвахте». – «Ну и посижу, какое дело, – сказал этот человек, – зато вам свиданку разрешили», – и улыбнулся до ушей. Наконец мы остались втроем. Бабушка что-то говорила, спрашивала, плакала, а я, помню, только смотрела, не отрываясь, на свою совсем новую для меня маму. На синее с белым платье, на красивые сапожки («Это мне один урка сделал, не правда ли, неплохо?», – перехватила мама мой взгляд), на ее блестящие, необыкновенно живые глаза, но больше всего на волосы. Это было какое-то живое струящееся серебро, обрамляющее совсем юное лицо (она поседела за одну ночь, первую после ареста). Жаль, что потом по «производственной необходимости» ей пришлось их покрасить, – таких волос я никогда ни у кого не видела ни прежде, ни потом. «Как королева», – подумала я.

Словно услышав мои мысли, за дверью кто-то сказал: «Королева, разрешите?», – и в комнату вошел рыхлый, лысый человек, напоминающий бухгалтера. Он держал в руках несколько разноцветных кусков марли. «Это заведующий лагерной аптекой и наш завпост Семен Яковлевич Магиденко», – представила она вошедшего, который очень учтиво и даже несколько церемонно поклонился сперва бабушке, а затем мне. А мама продолжала: «Вы не представляете, какие замечательные костюмы получаются из обыкновенной марли, если ее окрашивать лекарствами. Мы сейчас ставим «Бесприданницу», и, кажется, получается неплохо». Она задумалась, а потом добавила: «Я поняла, что театр можно создавать везде. Может, здесь он особенно нужен». В комнату опять постучали, а затем просунулась чья-то бритая голова, и ее обладатель произнес: «Прошу прощения, репетиция начинается». Мама чуть смутилась: «Наверное, надо было отменить, но через два дня премьера, а спектакля все так ждут... Это недолго (репетиция продолжалась часа четыре), может, вам даже разрешат посидеть в клубе, я попрошу».

Золотой ключик к каждому

Нам разрешили побывать на репетиции. Без остановок шли два акта «Бесприданницы», но я ничего не поняла из содержания пьесы, вернее, я его просто не воспринимала. Все мое внимание было поглощено тем, как ведут себя эти люди с моей мамой. Я знала, что ее «труппа» в основном состояла из уголовников. Но глядя на них на репетиции, наблюдая, как радостно-благоговейно выполняют они все ее указания, как предупредительно-внимательны к бабушке и ко мне, не только не могла их себе представить совершающими тяжкие преступления «путем грабежа и насилия», но и просто невежливыми, например, не уступающими старушке место в трамвае.

Вечером мы долго ходили между бараками по лагерным «улицам», и мама, разгоряченная репетицией, все говорила о своих «артистах»: о том, как талантлив тот, который играет Вожеватова («ему обязательно надо помочь поступить в театральный), какой чудесный голос она открыла у новенькой, только вчера прибывшей в лагерь (кстати, дочка этой лагерной звезды стала потом замечательным работником в Детском музыкальном театре). Потом она стала меня расспрашивать о прочитанных книгах и, услышав про «Горе от ума», сама прочитала наизусть чуть ли не полкомедии Грибоедова. Моя эрудиция ее явно не удовлетворила, и, наверное, чтобы разбудить мой дремлющий интеллект, она стала рассказывать о своих любимых книгах, а затем – о любимых пьесах и перешла на то, как интересно она задумала постановку «Двенадцатой ночи», которую обязательно осуществит сразу по возвращении. «Я уверена, что очень скоро справедливость восторжествует, мы снова будем вместе, и я сразу начну репетировать». Почему-то, услышав это, я вспомнила капитана, перед которым бабушка стояла на коленях, и сказала, что он очень страшный и злой. «Нет, ты ошибаешься, – горячо возразила она. – Это добрый, отзывчивый и смелый человек, хотя и очень больной. Он ведь не имел права разрешать свидание, так как на вашем документе не было самого главного – печати, а сделал это. Учись, доча, видеть в людях их суть, а не только внешнее. Почти к каждому человеку можно подобрать золотой ключик, который откроет в нем лучшее. И еще: никогда не теряй веры в людей, даже когда ты сам становишься жертвой чего-то непонятного и страшного...»

Вера в людей

Вера была ее сильнейшим качеством. В театре (Детском музыкальном) мы называли ее самой партийной среди всех беспартийных (она никогда не была членом КПСС), вера эта никогда не была слепой и сочеталась с редким бесстрашием. Когда окончился срок ее заключения, в качестве места для жительства ей была назначена Алма-Ата, где она сразу стала создавать Детский театр (Первый ТЮЗ Казахстана) и одновременно в оперном театре ставить «Чио-чио-сан» Пуччини. Я не стану описывать, как она завоевывала казахское руководство для детского театра и казахских певцов для «Чио-чио-сан» – об этом много написано, и лучше всего ею самой в «Новеллах моей жизни», скажу о другом. Для постановки оперы ей понадобился опытный японовед – она всегда скрупулезно погружалась в эпоху, быт, культуру той страны, с которой связана постановка; для оформления интерьеров театра – скульптор и, конечно, актеры. И вот в качестве японоведа она привлекает Куна, в качестве скульптора – Иткина – оба, по существу, ссыльные, а в качестве актера – Михаила Заре, с которым вместе «отбывала» в одном из сибирских лагерей. Естественно, это не понравилось «органам», куда ее незамедлительно вызвали для проработки. Помню, как весело рассказывала она об этом, вернувшись: «Они пытались меня убедить, что мерилом человеческой ценности являются благонадежность, а не талант и приносимая человеком польза, но я им объяснила, что даже если они меня в воспитательных целях вновь посадят, это ни к чему не приведет, я просто не могу поступать иначе».

Она была доброй, но не была добренькой, и много раз подчеркивала, какое огромное различие есть для нее в этих словах: «Нет! Нет!– яростно отвергала она предложения повысить категорию кому-нибудь из безобидных, но безголосых певцов.– Как вы не понимаете, что такая доброта губительна для театра?». Но сколько добра она делала сама! Квартиры, звания, общежития, ставки... За все время работы в Детском музыкальном театре я не помню, чтобы она использовала хотя бы половину положенного ей отпуска. В это время она всегда особенно интенсивно что-то доставала и выбивала, продумывала репертуар, писала книги – все они написаны в летнее время.

К сожалению, мы, по известному выражению Пушкина, ленивы и нелюбопытны, крепки в основном «задним умом». Вместо того чтобы постоянно бывать на ее репетициях, вести записи, снимать на видео, занимались будничными второстепенными делами, рассчитывая это – главное – «еще успеть». Не успели. А ведь ее репетиции были настоящим откровением, хотя пересказать их почти невозможно: так тесно там было сплетено что-то глубоко личное, даже интимное, с масштабным ощущением массовых мизансцен, с показами-перевоплощениями от «Волка» до «Красной Шапочки» и «Чио-чио-сан».

Откровение ее репетиций

«Одна надежда на МАМУ, только если она сама возьмется, то вывезет», – такие разговоры возникали за кулисами каждый раз, когда «заваливался» новый спектакль. Один из таких завалов мне особенно запомнился – он касался моего «Максимки». Моим он стал тоже благодаря Наталии Ильиничне. Ей очень хотелось, чтобы в нашем репертуаре была опера, созданная на основе «Морских рассказов» К. Станюковича, но либретто у литератора, которому оно было заказано, никак не получалось. «Вот что,– сказала однажды Наталия Ильинична, – напиши-ка ты либретто сама. Да, да, – добавила она тоном, не допускающим возражения, – как завлит музыкального театра, ты обязана овладеть профессией либреттиста». Что ж, я овладела. Поэт В. Викторов написал стихи, композитор Б. Терентьев – музыку, режиссер-постановщик В. Рябов начал репетировать с актерами. В то время у театра не было своего помещения и, чтобы выпустить спектакль, пришлось снять сцену Саратовского оперного театра. За четыре дня до премьеры на репетицию пришла Наталия Ильинична. Впечатление было ужасающее – было очевидно, что нас ждет сокрушительный провал. Через четыре дня был... сокрушительный успех. Как она этого добилась?! Помню, что прежде всего она «сломала» сцену, которую мы, авторы, считали своим высшим достижением, сцену, когда бедного негритенка продают, а он, не замечая этого, упоенно отплясывает в таверне.

«Чушь, – сказала она, останавливая оркестр. – Как только увидишь своего бывшего хозяина (это исполнительнице роли Максимки), мечись по сцене, все расшвыривая на своем пути». – «Но композитор сочинил совсем другую музыку!» – возопил из оркестра дирижер. – «Вот и забудьте, что он там насочинял, дайте нарастающее ощущение тревоги щеточками, еще какими-то ударными, сами сообразите...». Сообразили. И сцена задышала. Четверо суток с утра до вечера она не уходила со сцены, и никто не жаловался, не смотрел на часы (на ее репетициях вообще забывали о времени). Позже, сравнивая готовый спектакль с той провальной репетицией, я с удивлением обнаружила, что не так уж много изменено, вроде и текст, и мизансцены те же, только теперь это убеждало, увлекало, волновало.

Театр – явление вулканическое

Да, в самом деле, театр – явление вулканическое, сложнейшие процессы все время происходят внутри его организма. Если их игнорировать, вовремя не открывать нужные клапаны, грязекаменный поток выплеснувшейся наружу склоки сметет на своем пути все животворящее, оставив после себя лишь смрад и обломки искореженного. Таких крупных склочных выбросов я помню не один. Первый в Алма-Атинском ТЮЗе, открытом ею в 45-м, еще военном году. Она сумела разрушенное здание кинофабрики превратить в чудо архитектуры и художественной гармонии, всколыхнуть ленивый сонный город очередями за билетами – сколько там было ярчайших прелестных спектаклей, но она была, по существу, ссыльной – и этим воспользовались. На собрании, организованном склочниками, каких только ей не было предъявлено обвинений. Протокол этого сборища вполне мог стать основанием для новой отправки ее в «места отдаленные». Но этого не произошло. Просто Н. Сац отстранили от руководства созданным ею театром... Что стало с Н. Сац потом, известно: организовала новый театр – первый в мире Детский оперный, ну а ТЮЗ Казахстана лишился здания, большей части труппы, популярности...

Однако и в первом в мире детском оперном обстановка, как и во всяком театре, бывала разной. И собрания подобного типа на моей памяти были. Первое в самом начале творческого пути театра состоялось в оркестре, настроенном одним дирижером против другого, только что приглашенного на работу Наталией Ильиничной. Выслушав «ужасные обвинения» в свой адрес и в адрес человека, которого никто еще по сути не знал, она быстро разобралась, кто именно из музыкантов

Наталия Сац, 30-е годы.

является главным заводилой склоки, и после собрания «случайно» оказалась с ним рядом при выходе на улицу. У нее в руках был тяжелый чемоданчик, конечно, как истый джентльмен, он не мог отказаться поднести его до ближайшей троллейбусной остановки. Но уже через 5 минут он готов был идти за ней через весь город: так интересно было с ней разговаривать, а вернее, слушать, рассказчиком она была непревзойденным. Одна троллейбусная остановка потребовалась, чтобы ярый противник стал ее горячим сподвижником.

Помню я и еще одно «хорошо организованное» собрание тоже в начале пути еще не окрепшего театра. Дружно «качали права», дружно обличали руководство во главе с Н.С.... В какой-то момент она потеряла контроль над собой, гневно и страстно обрушилась на «родной коллектив», не щадя никого. Расходились подавленные, ощущение было мерзкое, а тут еще прошел слух, что «у Наталии сердечный приступ, вызывали неотложку». На другой день все ждали, появится ли она в театре и, если появится, то какой. Кому-то было стыдно, кто-то злорадствовал – довели! Она появилась еще более великолепно, чем всегда, одетая, по-королевски спокойная, ровно приветливая со всеми и столь же независимая. Сразу стало ясно, что никакого приступа не было, что чувствует она себя отлично, а главное, что никаким мелким шавкам ее не одолеть. Но приступ был. И неотложка была. И было требование врачей немедленно лечь в больницу. «Я не могу себе этого позволить»,– сказала она врачам.

Много говорили и писали об ее уникальной памяти, блестящих способностях. Как-то, разговаривая со своим внуком-пианистом о Рахманинове, она подошла к роялю и сыграла этюд, который в последний раз играла, когда ей было 12 лет! Не получив законченного даже среднего школьного образования (из-за ранней смерти отца, революции, жизненных перипетий ей пришлось оставить гимназию в 6-м классе), она училась всю жизнь: заочно в ГИТИСе, языкам на различных курсах и у преподавателей, в тюрьме в одиночной камере написала блестящую работу о Шекспире, которую потом представила для защиты докторской диссертации. Она черпала знания отовсюду и одновременно отметала от себя все лишнее. Может, потому она так много успела в жизни.

Умение видеть суть вещей, а также суть людей и их взаимоотношений между собой было в ней поразительное. У нас в театре шутили: чтобы узнать прогноз будущих театральных романов и флиртов, обратитесь к Наталии Ильиничне. Действительно, еще и сами участники будущих событий о них едва подозревают, а Наталия Ильинична уже заметила, что такой-то «положил глаз» на такую-то, а это грозит тем-то и тем-то. Нет! Она не была ханжой. «Я люблю любовь, но не терплю пошлости» – это было ее жизненное кредо и то, что она исповедовала в искусстве. «С детьми и юношеством можно говорить обо всем, но делать это нужно возвышенно, бережно и обязательно чистыми руками».

Музыка звучала в ней

С ней было нелегко. Выплескиваясь на работе, дома она замыкалась, искала уединения, отгораживалась порой от всех, в том числе и от своих детей.

Последние четыре месяца ее жизни уже в больнице мне посчастливилось видеть ее чуть ли не ежедневно. Тяжелобольная, умирающая, она и тут оставалась верна себе.

Помню в один из последних оставшихся ей дней я попыталась что-то в нее впихнуть. «Оставь, пожалуйста, – запротестовала она, – не хочу я есть эту неинтересную кашу, я слушаю музыку. Я посмотрела на радиоприемник, он был выключен. Но по ее лицу было видно: она слушает. Музыка звучала в ней самой.

Роксана КАРПОВА-САЦ